



МАРИНА МИХАЙЛОВА

Филолог, философ

Родилась в 1963 году в Норильске. В 1969-м семья вернулась в Ленинград. Окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета в 1984 году. Работала в литературной секции Ленинградского городского бюро экскурсий. С 1996 по 1999 год училась в аспирантуре философского факультета Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. В 1999 году защитила диссертацию «Молчание как форма духовного опыта». Кандидат философских наук, доцент кафедры искусствознания Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения, где читает курсы истории литературы, истории религии, мифологии. Автор и ведущая радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», где ведёт циклы «Символ веры», «Бог и человек в мировой литературе», «Словарь», «Образ жизни», «Культурная реакция». Автор монографии «Эстетика молчания» (СПб., 2009; 2-е изд. М., 2011) и более семьдесят научных и творческих публикаций. Живёт и работает в Петербурге.

К 90-й годовщине смерти А. А. Блока и гибели Н. С. Гумилёва

АВГУСТ 1921

«Всякий мудрец, когда говорят слова,
слышанные из его уст в этом мире, —
уста его шевелятся в могиле».

Рабби Шимон бар Йохай

1

Август — роскошное завершение лета, месяц астр, созревающих яблок и звёздных ночей, когда заканчиваются в наших широтах белые ночи и снова надвигается тьма. На царственную красоту его ложится некая траурная тень: множество катастроф и смертей, от начала Первой мировой войны («Тот август, как жёлтое пламя,/Пробившееся сквозь дым,/Тот август поднялся над нами,/Как огненный серафим») и до гибели «Курска», случилось именно в августе. Август 1921 года отмечен двумя горькими памятными датами: 7 августа умер Александр Блок, 25 августа был расстрелян Николай Гумилёв.

Поэты говорят с нами не только своими стихами, но и своей судьбой. И тогда, и сегодня, спустя девяносто лет, эти две смерти воспринимаются как трагический рубеж. Это ощущение точно выразил Владимир Васильевич Вейдле, знаток русской культуры. В статье «Петербургская поэтика» (1968) он уверенно называет Бродского продолжателем традиции петербургской поэтики на том основании, что «он сквозь мглу смертей и рождений помнит Петербург 21 года, 1921 года Господня, тот Петербург, где мы Блока хоронили, где мы Гумилёва не могли похоронить»: для Бродского удивительным образом не существует разрыв традиции, состоявшийся в 1921-м. Похороны Блока отметили точку этого разрыва, в определённом смысле — конца классической русской культуры:

Провожая его к могиле, мы прощались не с ним одним. С его уходом уходило всё, ему и нам самое дорогое, всё, что сделало его тем, чем он был, и нас вместе с ним, то, чем и мы были живы. Мы хоронили Россию, не Россию российского государства, хоть и была она тогда разгромлена и унижена, и не Россию русских людей, а другую, невидимую Россию, ту, что становится ощутимой в слове и сквозь слово. Неся его гроб, мы не думали, что русской земле угрожает гибель. Невидимая Россия — нечто как будто и неуязвимое, но вместе с тем, как стало теперь ясно, и более хрупкое, чем видимая. Пусть и не вполне это сознавая, мы скорбели именно о ней.

Почему «невидимая Россия», тот строй мировосприятия, который выразился в русском слове и оказался столь подвержен разрушению (но, как свидетельствует, в частности, феномен Бродского, тем не менее, устойчив и окончательно не устраним), оказывается под угрозой именно в момент смерти Блока и Гумилёва? Причины здесь можно усмотреть две: *кто* ушёл (без сомнения, Блок и Гумилёв — значительнейшие фигуры в русской поэзии начала XX века) и *как* они ушли (смерть этих людей открывает страшный список невинно убиенных поэтов).

Поэзия и личность Блока на протяжении двадцати лет, от «Стихов о Прекрасной Даме» и до конца жизни, постоянно находились в центре читательского внимания. Его уникальный опыт, в высокой мере оправдавший символистские упования, выразился с предельной искренностью в его стихах. Дмитрий Евгеньевич Максимов и Зара Григорьевна Минц в своё время убедительно показали, как мифологема пути строит художественный мир Блока. С его точки зрения, поэт — тот, кто берёт на себя труд и ответственность проходить жизненный путь, эстетически давая себе отчёт в каждом событии. В силу своей экзистенциальной и мистической насыщенности поэзия Блока, весьма личностная и особенная, оказалась близка и современникам, и потомкам.

Телесные причины смерти Блока — быстро прогрессирующая сердечная болезнь и голод. Когда доктор Пекелис, последний его лечащий врач, выписывал рецепты, там были не лекарства, а сахар, белая мука, рис, лимоны. Блок обращался к властям с просьбой отпустить его в санаторий

в Финляндию. Разрешение пришло после его смерти. Хороший ход: человека уморили, но никто не виноват, ведь выезд был разрешён, и это он сам не дотерпел.

Блок умирал медленно, поэтому у него была возможность обдумать происходящее и подготовиться. Самуил Миронович Алянский свидетельствует, что незадолго до смерти Блок просматривал свои записные книжки и дневники, уничтожая иногда отдельные страницы, иногда целые тетради и оставляя только то, что считал нужным (за что мы можем быть ему благодарны, так как теперь с чувством нравственной дозволенности читаем его личные записи). С другой стороны, написанное Блоком в 1921 году можно рассматривать как завещание: умирая, он хочет, чтобы эти его слова были услышаны.

Известно, что отношение Блока к революции и последовавшим событиям было неоднозначным и адекватным сложности предмета. Как умный и честный человек, он видел, что в революции есть своя правда, о чём и сказал с определённой ясностью, например, в статье «Интеллигенция и революция» (январь 1918 года):

Почему дырявят древний собор? — Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? — Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? — Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господина показывали свою власть: тыкали в нос нищему — мощной, а дураку — образованностью.

В этой статье Блок призывает не бояться разрушения культурных ценностей, так как «кремли у нас в сердце, царь — в голове». Поскольку ценности невещественны, «царя можно отнять с головой вместе». Именно это и стало происходить в самом скором времени: начался красный террор (физическое отнятие головы) и революционная агитация (устранение царя из головы мирным путём, через замещение здравого смысла дикими идеологическими конструкциями). Блок это тоже прекрасно видел и быстро пришёл к пониманию того, что революция сделана не народом и не для народа.

В марте 1921 года Блок пишет текст под названием «Ни сны, ни явь». Эта сновиденная вереница образов выявляет присутствие некоей бесформенной, тёмной страшной силы, которая овладевает Россией и начинает её разрушать. Люди одержимы безумием: у мужика крыша провалилась, а он её не чинит; дьякон нарожал незаконных детей; сам рассказчик вдруг схватился за топор и срубил столетнюю усадебную сирень, за ней — березовую рощу, и теперь стоит дом его, незащищённый, открытый всем ветрам и бурям на краю оврага. Среди всеобщего разорения доволен только «политический», который мечется по дорогам на велосипеде. Иррациональное зло поражает весь строй русского мира, но прежде всего рушит внутреннее устройство человека: тело теряет свою душу и таскается по городским

улицам, стараясь голоса души не слышать, ей не откликаться. Образы блоковской статьи пророческие, за ними открываются все беды, поразившие Россию в XX веке: уничтожение крестьянства, уродливая урбанизация, потеря смысла жизни и веры в неё — а отсюда утрата любви к жизни, жизненной силы и даже самого желания жить, закрытость не только измерения священного, но и измерения душевного, неумение внимать себе и сознавать внутреннюю жизнь. Душа в блоковской статье говорит своему телу: «Перестань искать меня там и тут — я здесь». Это тоже пророчество о том, какими путями пойдёт человечество в XX веке: болтовня о душевном и духовном воспрепятствует подлинному проживанию, а постоянное рассеяние, развлечение, погруженность в многообразную и фрагментарную информацию отнимет видение целого. Сейчас уже не только в России, но и на всем белом свете предлагается нам душу потерять и заняться исключительно телом, изредка — умом.

В конце рассказчик говорит, что уже не раз был свидетелем удивительной сцены: в дальнем углу сада, за кустами боярышника, какой-то человек, стоя на коленях, копается в земле, а потом складывает руки рупором и разговаривает глухим голосом с кем-то, кто ему отвечает из ямы. Собеседник (здравый смысл) на это отвечает: «Что же тут необыкновенного? Садовник говорил с рабочими. Тебе все мерещится». — «Эх, не знаете вы, не знаете». Этими странными словами заканчивается блоковская статья, и мы теперь уже знаем, как жутко сбылось финальное видение: в яму, в разверстую могилу вскоре провалилась вся Россия (вспомним дом на краю оврага) и сошёл автор этих пророческих слов.

10 февраля 1921 года в Доме литераторов, где люди собрались почтить память Пушкина, Блок произнёс речь «О назначении поэта». Для него, как, пожалуй, и для всех нас, «весёлое, лёгкое имя Пушкин» означает поэта как такового. Говоря о Пушкине, Блок говорит о сущности поэзии и о призвании поэта вообще. Призвание это состоит в том, что поэт — «сын гармонии», понимаемой как «согласие мировых сил». Культура — не *надстройка* над социально-экономическим базисом, но гармонизация мировых сил, особое состояние мира. Поэт — не *деятель культуры*, без которого худо-бедно можно обойтись, но соратник Божий, тот, кто соучаствует в сотворении мира, народа и человека:

Поэт — сын гармонии; и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него: во-первых — освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых — привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-третьих — внести эту гармонию во внешний мир. <...> На бездонных глубинах духа, где человек перестаёт быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией, катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объёмлющим вселенную; там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир. Эта глубина духа заслонена явлениями внешнего мира. <...> Первое дело, которого требует

от поэта его служение, — бросить «заботы суетного света» для того, чтобы поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину. <...> Тайнственное дело совершилось: покров снят, глубина открыта, звук принят в душу. Второе требование Аполлона заключается в том, чтобы поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова; звуки и слова должны образовать единую гармонию. Это — область мастерства. <...> Чем больше поднято покровов, чем напряжённее приобщение к хаосу, чем труднее рождение звука, — тем более ясную форму стремится он принять, тем он протяжней и гармоничней, тем неотступней преследует он человеческий слух.

Истолковывая пушкинское стихотворение «Поэт», Блок работает с собственными метафорами и мифологемами, но при этом не выходит за пределы разработанной младшими символистами, прежде всего Вячеславом Ивановым, концепции творчества как восхождения (постижения в реальном реальнейшего) и нисхождения (оформления поэтических откровений в слове, обращённом к другому). Остро и ново звучат те размышления Блока, что относятся к третьему делу поэта — внесению гармонии в мир:

Похищенные у стихии и приведённые в гармонию звуки, внесённые в мир, сами начинают творить своё дело. «Слова поэта суть уже его дела». Они проявляют неожиданное могущество: они испытывают человеческие сердца и производят какой-то отбор в грудях человеческого шлака; может быть, они собирают какие-то части старой породы, носящей название «человек»; части, годные для создания новых пород; ибо старая, по-видимому, быстро идёт на убыль, вырождается и умирает.

Нельзя сопротивляться могуществу гармонии, внесённой в мир поэтом; борьба с нею превышает и личные и соединённые человеческие силы. <...> От знака, которым поэзия отмечает на лету, от имени, которое она даёт, когда это нужно, — никто не может уклониться, так же как от смерти. Это имя даётся безошибочно.

Так, например, никогда не заслужат от поэта дурного имени те, кто представляют из себя простой осколок стихии, те, кому нельзя и не дано понимать. Не называются чернью люди, похожие на землю, которую они пашут, на клочок тумана, из которого они вышли, на зверя, за которым охотятся. Напротив, те, которые не желают понять, хотя им должно многое понять, ибо и они служат культуре, — те клеймятся позорной кличкой: чернь; от этой клички не спасает и смерть; кличка остаётся и после смерти.

Действительно, Блок не сказал дурного слова о тех мужиках, что в помрачении, в исступлении жгли его книги в Шахматово, крушили и растаскивали там все, что могли. «Осколок стихии», тёмная порода, ещё не испытывавшая гармонизирующего культурного влияния, обладает потенциалом роста и развития. Между прочим, единственное начинание русской революции 1917 года, которое вполне поддержали и Блок, и Гумилёв, и многие другие, — это культурная и просветительская работа. Замысел этот остался невоплощённым, и сама партия пресекла его исполнение: если бы культура

действительно была принесена в массы, народ никогда не потерпел бы то правительство, которое терпел много десятилетий и терпит до сего дня. Сталинское беснование не было бы возможно в стране, где люди читали бы всерьёз Пушкина и Блока. Поэтому в советской культурной политике высокая классика ушла на периферию, а центральное место занял апофеоз черни, чудовищное искусство социалистического реализма.

С точки зрения Блока, чернь — это вовсе не народ, занятый чёрным трудом: «Нужно быть тупым или злым человеком, чтобы думать, что под чернью Пушкин мог разуть простой народ. Пушкинский словарь выяснит это дело — если русская культура возродится». Обратим внимание на то, что Блок с уверенностью говорит о русской культуре как погибшей. Причина гибели — торжество черни, под которой он разумеет бюрократию:

Чиновники и суть наша чернь; чернь вчерашнего и сегодняшнего дня: не знать и не простонародье; не звери, не комья земли, не обрывки тумана, не осколки планет, не демоны и не ангелы. Без прибавления частицы «не» о них можно сказать только одно: они люди; это — не особенно лестно; люди — дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадежно и прочно заслонена «заботами суетного света».

Добавим: не только вчерашнего и сегодняшнего, но и завтрашнего дня: спустя девяносто лет наша чернь, постсоветские чиновники, внутреннего своего содержания не изменили, и сегодня, как всегда, дельцы и пошляки обладают великим качеством посредственности, которая делает их непроницаемыми ни для какой культуры и ни для какой веры.

Чернь требует от поэта служения тому же, чему служит она: служения внешнему миру; она требует от него «пользы», как просто говорит Пушкин; требует, чтобы поэт «сметал сор с улиц», «просвещал сердца собратьев» и пр¹. Со своей точки зрения, чернь в своих требованиях права. <...> Она никогда не сумеет воспользоваться плодами того несколько большего, чем сметение сора с улиц, дела, которое требуется от поэта.

¹ Несносен мне твой ропот дерзкий,
Ты червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы всё — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нём не зришь.
<...>
Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй.
<...>
Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор, — полезный труд! —
Но, позабыв своё служенье,
Алтарь и жертвоприношение,
Жрецы ль у вас метлу берут?

А. С. Пушкин. Поэт и толпа

Снова пророчество: во времена, которые Блок, к счастью для себя, уже не застал, чернь потребовала от поэта верности идеалам социалистического строительства и моральному кодексу строителя коммунизма. Как не вспомнить Бродского (согласно Вейдле, наследника петербургской поэтики), который советской властью был объявлен тунеядцем: если ты не трудишься на идеологическом фронте и не подметаешь улиц, кто же ты такой, как не бездельник.

Сословие черни, как, впрочем, и другие человеческие сословия, прогрессирует весьма медленно. Так, например, несмотря на то, что в течение последних столетий человеческие мозги разбухли в ущерб всем остальным функциям организма, люди догадались выделить из государства один только орган — цензуру, для охраны порядка своего мира, выражающегося в государственных формах. Этим способом они поставили преграду лишь на третьем пути поэта: на пути внесения гармонии в мир; казалось бы, они могли догадаться поставить преграды и на первом и на втором пути: они могли бы изыскать средства для замутнения самых источников гармонии; что их удерживает — недогадливость, робость или совесть, — неизвестно. А может быть, такие средства уже изыскиваются?

Блок задаёт вопрос, а мы знаем, что эти средства уже изысканы: прогрессирующая чернь сделала все для того, чтобы человек перестал смотреть на мир. Сегодня экран даёт человеку образ мира, и доверие к этому образу больше, чем к собственному опыту, так что средства замутнения источников гармонии уже найдены. Что же до цензуры, в советской стране она была тотальной и никуда не делась сегодня: форматы и рейтинги СМИ осуществляют не менее жёсткий идеологический контроль, чем Главлит.

Тем не менее дело поэта совершается вопреки всем препятствиям, и состоит оно вовсе не в том, чтобы «достучаться непременно до всех олухов» — это была бы как раз стратегия черни, которая требует дар поэта употреблять на благо общества ради исправления нравов. Гармония, вносимая поэтом в мир, по мнению Блока, производит отбор «с целью добыть нечто более интересное, чем среднечеловеческое, из груды человеческого шлака». Этот образ, на первый взгляд, обличает снобизм и высокомерие Блока по отношению к человечеству. Чтобы понять эти слова, нам придется вспомнить один важный мотив поэзии Блока и Вячеслава Иванова — претворение угля в алмаз. Вячеслав Иванов в одном из своих стихотворений говорит:

Когда, сердца пронзив, Прозрачность
Исполнит солнцем, тёмных, нас,
Мы возблестим, как угля мрачность,
Преображённая в алмаз.

Уголь и алмаз — разные формы существования углерода, одно и то же вещество, которое проявляет себя различно. Равным образом человек может быть и тёмным, и просветлённым. От чего это зависит? Иванов говорит о прозрачности. Это богословский образ, восходящий к св. Григо-

рию Паламе. Христос — Свет истинный, который просвещает мир, Солнце Правды. Если человек пронцаем для божественного света, он может наполниться им и изливать в окружающий мир радость и красоту. Добыча чего-то интересного из груды человеческого шлака — это и есть преобразование человека угольного, тёмного в человека алмазного, прозрачного, который способен свет в себя вбирать и затем его отдавать. Этот образ неоднократно появляется у Блока. Так, в поэме «Возмездие» он говорит: «Созрела новая порода: / Угль превращается в алмаз». В великом богочеловеческом деле культивирования нового человека поэзия имеет решающее значение, что сегодня вовсе не очевидно, об этом приходится напоминать. Поэзия существует для народа и для каждого из нас, это вовсе не цеховое занятие поэтов, но то, что имеет общенациональное значение. Русская литература — фундамент, на котором строится единство нашего народа. До тех пор, пока мы все помним Пушкина, Грибоедова, Гоголя, мы говорим на одном языке, нам не придётся много объяснять друг другу, иногда достаточно краткой цитаты, чтобы произошла встреча сознаний и состоялся подлинный человеческий контакт. Если мы потеряем этот общий язык, наше единство рассыплется. Никакими внешними лозунгами и политическими авантюрами невозможно собрать и соединить народ, это осуществляет культура.

Условием для претворения угля в алмаз является свобода. Цитируя «Из Пиндемонти» и «К Н. Я. Плюсковой», Блок подчёркивает, что от юности и до конца жизни «тайная свобода» была одной из главных ценностей для Пушкина. Именно против этой личной свободы, которая не сводится только к красоте и достоинству частной жизни, поскольку рождает и творчество, и созерцание, советская власть выступила решительно и твёрдо, и Блок это узнал на своём опыте, когда было принято решение об «уплотнении» (какой язык!) его квартиры. К счастью, они с Любовью Дмитриевной избежали коммунальных радостей, переехав в маленькую квартиру, которую снимала мать Блока Александра Андреевна.

Личная свобода и частная жизнь потому и ненавидимы всеми тоталитарными режимами, что они являются, может быть, самым мощным средством преобразования мира. Если всерьёз задуматься, окажется, что мы способны глубоко и прочно влиять только на то, что находится в пределах круга личной жизни: на самих себя, на свою семью, друзей, профессиональную деятельность. Большие социальные и политические проекты проваливаются именно потому, что невозможно возделывать поле, на котором ничего не посеяно. Мир способен возродиться только из зерна, и таким зерном является частная жизнь, позволяющая новым поколениям расти в любви и свободе. Простой идеал «тайной свободы» оказывается, тем не менее, труднодостижимым, потому что общество ориентирует нас на другое: в советские времена — на пафос коллективного труда, в постсоветские — на гонку за призами сомнительного качества. Подчеркнём, что у Пушкина и у Блока речь идёт о тайной свободе. Чем больше декларируется свобода,

тем меньше её остаётся; чем громче человек кричит, что он свободен, тем больше в нём рабства. Сегодня нас уверяют в том, что свободный человек — это богатый человек, у которого есть много-много денег, и он всё может купить. Тайная свобода иного свойства. Даосы говорили, что мастер жизни — тот, кого никто не знает. Подлинная свобода совершается в простоте и незаметности. Мастером жизни может быть тихий старик, который плетёт корзины на берегу реки, нищий странник или незаметный учитель поэзии, который служит и подчиняется всем требованиям своей службы. В нём нет никакой внешней яркости, он прост и именно поэтому велик, глубинно свободен и совершенно счастлив в своём смирении и незаметности. Эту тайную свободу мы и призваны хранить и возделывать, поскольку она — фундамент, на котором совершается преобразование человека.

Отметив, что свободе угрожает не только «вежливый голос Бенкендорфа», но и «младенческий лепет Белинского», продолженный Писаревым, который уже «орал во всю глотку», Блок говорит:

От дальнейших сопоставлений я воздержусь, ибо довести картину до ясности пока невозможно; может быть, за паутиной времени откроется совсем не то, что мелькает в моих разлетающихся мыслях, и не то, что прочно хранится в мыслях, противоположных моим: надо пережить ещё какие-то события; приговор по этому делу — в руках будущего историка России.

Увы, правы были его разлетающиеся мысли. Чем страшны были Блоку Белинский, Писарев и те, кто шёл за ними? Это были критики. Критик сам ни стихов ни романов не пишет, но присваивает возможность судить. Вспоминая школьные и университетские годы, понимаю, что отвращение к русской классике у некоторых не в последнюю очередь воспитывалось необходимостью читать многословные и неприятные своей указующе-поучительной интонацией статьи революционно-демократических критиков. По-видимому, Блок предвидел, как на этой почве вырастет новый вид черни — чиновники от литературы, пустые, творчески бессильные и обладающие неизвестно откуда им данной властью гонять, шпынять, судить, осуждать... Возникает удивительная ситуация, когда посредственность выше гения, всякий может сказать по любому поводу: «Непонятно — значит, плохо». Мы не обладаем смирением перед искусством и уважением к творцу, нам кажется, что если мы народ, то имеем право всех этих творцов судить и поучать. Блок видел, как позиция критикующей черни, которая во времена комиссаров от литературы стала чумой, истребляющей русское слово, зарождалась в младенческом лепете Белинского. То, что мы живём сейчас в эпоху полнейшего упадка вкуса, неудивительно: этот упадок подготовила воинствующая чернь, присвоившая права универсального критика.

Пожалуй, самый знаменитый тезис блоковской статьи — что Пушкина убило отсутствие воздуха: «Покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать

ему уже нечем; жизнь потеряла смысл». Очевидно, что Блок говорит о собственной смерти: и он умирает не только от голода и сердечной недостаточности, но и от недостатка воздуха, невозможности слышать музыку мира.

В одном из последних писем Блока к Корнею Ивановичу Чуковскому есть страшные слова: «Слопала-таки поганая гугнивая родимая матушка Россия, как чушка своего поросёнка». Они очевидно перекликаются с пушкинскими: «Догадал же меня чорт родиться в России с душою и талантом». Действительно, наша страна, пожалуй, превосходит другие земли в умении губить лучших людей, а затем их оплакивать. Блоку в конце жизни приходилось тяжело. Нам не всегда просто это вполне понять: мы выросли в советской стране и не воспринимаем как страшные те обстоятельства, которые для русского дворянина, выросшего в профессорской семье, были чудовищны: продуктовые карточки, коммунальная квартира... Враз была упразднена частная жизнь, чтобы человек вечером возвращался не в свой уютный тихий дом, а туда, где вечный бой, и покой только снится. Блока и впрямь слопала матушка Россия, которая в этот момент сорвалась со всех ограничителей — и пошла писать губерния. Письмо к Чуковскому помечено 26 мая, а 18 июня в дневнике Блок записывает очень коротко: «Мне трудно дышать, сердце заняло полгруды». Врач скажет, что это симптомы стенокардии, грудной жабы, но все, что с Блоком происходит, имеет значение не только физическое, но и метафизическое, предстаёт не только как симптом сердечного заболевания, но и как симптом культурной ситуации. Блок испытывает недостаток воздуха. Это состояние духовного вакуума, гибели культуры, невозможности свободно дышать. В последние дни жизни Блок говорит близким людям: «Я уже ничего не слышу». Речь идёт не о слухе физическом, а о том, что ему стала невнятна музыка мира, о которой он писал в дневнике:

В начале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растёт в упругих ритмах. Рост задерживается, чтобы потом хлынуть. Таков закон всякой органической жизни на земле, и жизни человека и человечества — волевые напоры. Рост мира есть культура, культура есть музыкальный ритм.

Блок настолько измучен и затравлен, что ничего уже не слышит, потому что поэту для того, чтобы погрузиться в божественную тайную глубину вещей, нужны силы, а если ему нечего есть, негде жить и со всех сторон обложила его торжествующая пошлость, то этим силам взяться уже неоткуда.

Многие друзья и читатели знали, что Блок тяжело болен, и тревожились за него, но все равно смерть его стала ударом. Он умер в воскресенье 7 августа. Похороны были назначены на 10-е. Накануне на главных улицах города были расклеены афиши, извещавшие о похоронах, и уже с вечера на Офицерской, где жил Блок, стали собираться люди, которые хотели проститься с поэтом. Очередь растянулась далеко по улице. Медленно входили в дом

со двора, поднимались по узкой лестнице, подходили к гробу, оставляли цветы и выходили, уступая место другим. Говорят, что лицо Блока так изменилось за последние дни болезни, что его невозможно было узнать. Утром 10 августа гроб несли на плечах через мост над Невой, по линиям Васильевского острова на Смоленское кладбище. Народу на похоронах было много, но многим запомнилось скорбное неподвижное лицо Ахматовой. Она скорбела не только о смерти Блока. Её бывший муж Николай Гумилёв, читаемый и чтимый современниками поэт, в этот момент находился в тюремном заключении.

2

Гумилёв был арестован в ночь с 3 на 4 августа 1921 года и расстрелян 25-го. Его трагическая гибель также переживалась как знак времени. Гумилёв был моложе Блока всего на шесть лет, но его литературный облик, несомненно, указывает уже на принадлежность к следующему поколению. Страшный безвременный уход этих двух поэтов означал, как чувствовали современники, а мы теперь ясно видим, начало радикальной попытки лишить русскую поэзию будущего: не только блоковское поколение жёстко вытеснялось из пространства русской литературы, но и поэты следующего поколения оказались гонимы, и первым из них пострадал Гумилёв.

Он назвал свою первую книгу «Путь конквистадоров», и это название прямо указывает на то, что Гумилёв — один из последних романтиков в русской поэзии. Тема и идея пути для него очень значима, хотя и в ином смысле, чем для Блока: если Блок склонен открывать неземное в обыденном, то герой Гумилёва — открыватель новых земель, человек, пересекающий океаны, зачарованный не столько глубиной, сколько широтой мира. Для символиста Блока весь мир был пронизан тайными связями, любая вещь существовала не сама по себе, но включалась в широкие и разнообразные культурные контексты. Для акмеиста Гумилёва была важна новизна мира. Не зря акмеисты называли себя одно время адамистами: для них поэзия — слово Адама, поэт — первый человек, который как будто впервые, в первый день творения, видит мир во всей его яркой и пронзительной красоте.

Гумилёв и жизнь свою строил как путешественник, человек подвига (в прямом смысле — тот, кто движется, подвигает себя). Четыре раза он был в Африке, причём впервые отправился туда совсем молодым человеком (ему был 21 год) против воли отца, прервав своё обучение в Сорбонне. Он посетил и северную, арабскую, и центральную, чёрную Африку, и написал о ней красивые и умные стихи. Кроме того, он побывал во Франции, в Англии, в Италии, в Греции, путешествовал по Швеции, Норвегии и Финляндии, не говоря уже о городах и весях Российской империи. Обширной географии путешествий Гумилёва соответствует и широта его культурных интересов.

Другой источник человеческой и поэтической зрелости Гумилёва — Первая мировая война. Он был офицером, служил в уланском, затем в гусарском полку, прошёл всю войну. В самом начале войны Гумилев,

уже в военной форме, и Ахматова обедали в ресторане Царскосельского вокзала и встретили там Блока. Оставшись наедине с Ахматовой, Гумилёв сказал: «Неужели и его пошлют на фронт? Это то же самое, как жарить соловьёв», — имея в виду, что поэту не место на войне. Впрочем, к себе Гумилёв этот принцип не относил, воевал он наравне с другими, и из фронтового опыта родились многие его стихотворения.

Когда началась революция, Гумилёв занял достойную позицию. С одной стороны, он вовсе не был сторонником революционных преобразований. Для него было очевидно, что события не меняют к лучшему судьбу России, поэтому он держался в стороне от революционного восторга, охватившего тогда многих людей. Сохранились воспоминания Владислава Ходасевича, где он рассказывает о Петербурге начала 1920-х годов и о том, как вёл себя Гумилёв:

На святках 1920 года в Институте истории искусств устроили бал. Помню: в огромных промёрзших залах зубовского особняка на Исаакиевской площади — скудное освещение и морозный пар. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художнический Петербург — налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснятся к каминам. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитеры, потёртые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале. И вот, с подобающим опозданием, является Гумилёв под руку с дамой, дрожащей от холода в чёрном платье с глубоким вырезом. Прямой и надменный, во фраке, Гумилёв проходит по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал. Весь вид его говорит: «Ничего не произошло. Революция? Не слышал».

Ходасевич, человек умный, тонкий, точный, в этой короткой бытовой зарисовке обозначает основную позицию Гумилёва по отношению к «грядущему хаму»: «Революция? Не слышал». Гумилёв сохраняет лицо: в самых тяжёлых и неблагоприятных обстоятельствах он делает вид, что ничего не происходит. Рядом с Гумилёвым, прямым и строгим, дама в чёрном платье с открытыми плечами. Этот образ появляется в те же годы в поэзии Мандельштама:

Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи
В чёрном бархате всемирной пустоты.
Всё поют блаженных жён крутые плечи,
А ночного солнца не заметишь ты.

Простой жест — надеть низко срезанное чёрное платье — для женщины в 1920 году был настоящим поступком: это означало, что человек противится надвигающейся катастрофе, разрушению, уничтожению всех ценностей.

С другой стороны, Гумилёв, не будучи сторонником революции, поддерживал разнообразные культурные начинания, предпринятые русской интеллигенцией в первые послереволюционные годы. В Петрограде, в Москве, во многих русских городах возникали разнообразные институты, где изучались искусства, философия, науки, открывались новые издательства, художе-

ственные выставки, была мощная переводческая деятельность, был взят курс на то, чтобы мировую классическую культуру сделать народным достоянием. Это был великий замысел: люди, которые читали Шекспира и видели Рембрандта, — это уже не та бесформенная масса, которой можно управлять как угодно и загонять её в лагерь. Именно поэтому большевистская власть быстро свернула культуротворческий проект, и на смену краткому культурному расцвету пришла жуткая, мертвящая, холодная эпоха социалистического реализма. В культурной работе Гумилёв принимал самое активное участие. На момент ареста в 1921 году он был председателем Петроградского отделения Всероссийского союза писателей, работал в Институте истории искусств, в издательстве «Всемирная литература», вёл несколько поэтических семинаров, активно занимался переводами, состоял в комиссии по инсценировке культуры (был и такой проект: для людей малограмотных, не умеющих читать, предполагалось устраивать театральные действия, которые помогут приблизить мировую классику к народу). Таким образом, Гумилёв занимал отчётливую нравственную позицию неприятия кровавой власти и в то же время с готовностью участвовал в культурной работе. Как сказал один из мемуаристов, литератор Андрей Яковлевич Левинсон, «Гумилёв мог пойти всюду, потому что нигде не потерял бы себя».

Гумилёв был арестован по обвинению в участии в заговоре Владимира Таганцева. Вопрос о том, был ли этот заговор и существовала ли Петроградская боевая организация, мы оставим в стороне. Для нашей темы важно, что целью красного террора с самого начала становится не просто борьба с теми, кто открыто враждебен режиму, но именно уничтожение людей независимых и свободно мыслящих. Дело Таганцева поразило многих своей жестокостью и невероятной низостью. 833 человека были арестованы, из них 96 человек расстреляны по приговору или убиты при задержании. Среди арестованных и расстрелянных были женщины, в том числе две беременные.

Гумилёва обвиняли в антисоветской деятельности, и люди, которые его знали, готовы были в это верить: он был человеком определённых взглядов, большой решимости и личной храбрости, и можно было предположить, что он замышлял какие-то действия против режима. Однако вина его не была доказана, и через 70 лет после расстрела его реабилитировали, а дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Когда Гумилёв находился под арестом, он отправил несколько записок жене и друзьям. Эти записки тоже стали предметом мифологизации: некоторые авторы воспоминаний говорят о том, что в заключении Гумилёв читал Гомера и Евангелие. Существует также традиция цитировать фразу, которая якобы была написана жене: «Не беспокойся обо мне, я здоров, пишу стихи и играю в шахматы». Достоверна одна сохранившаяся записка Гумилёва, помеченная 9 августа 1921 года. Гумилёв пишет в Дом литераторов с просьбой о передаче:

Я арестован и нахожусь на Шпалерной. Прошу вас послать мне следующее: 1. постельное и носильное бельё; 2. миску, кружку и ложку; 3. папирос и спичек, чаю; 4. мыло, зубную щётку и порошок; 5. ЕДУ. Я здоров, прошу сообщить об этом жене. Первая передача принимается когда угодно, следующие — по понедельникам и пятницам с десяти до трёх. С нетерпением жду передачи. Привет всем. Николай Гумилёв. 6 отделение, камера 77.

Трудно представить себе, что человек не захватил миску и ложку, зато взял в тюрьму Гомера и Священное Писание. Скорее всего, игра в шахматы и стихосложение — это легенда. Тем не менее, как всякая легенда, этот рассказ имеет под собой некоторую реальную основу: личные качества Гумилёва, который, несомненно, был человеком высоких интересов. Не случайно молва приписывает ему чтение Евангелия в тюремной камере. Гумилёв — христианский поэт, для которого Евангелие — не часть мировой или национальной культуры, а часть его собственной жизни. Его стойкость, достоинство и внутренняя свобода, которые он обрёл в ранние годы и сохранял до конца своей краткой жизни, не в последнюю очередь результат того, что Гумилёв был верующим человеком.

О смерти Гумилёва рассказывали разное. Одна дама, та самая красавица в чёрном платье с открытыми плечами, которая сопровождала его на балу в Zubовском дворце в 1920 году, в своих воспоминаниях написала:

Через много лет [после расстрела Гумилёва. — М.М.] я столкнулась в театре, в котором служила, с бывшим старым чекистом тех лет (он был директором театра), который присутствовал при расстреле Гумилёва. Он рассказывал, что был поражён его стойкостью до самого трагического конца. <...> Позднее, в годы необоснованных репрессий, этого товарища постигла та же участь.

Здесь все интересно: и фигура чекиста, который в начале карьеры расстреливает русских поэтов, а потом занимает спокойный хороший пост директора театра — всё время при культуре, так сказать, и сама воспоминательница, актриса Дориана Филипповна Слепян, которая отмечает, что чекист-театрал погиб «в годы необоснованных репрессий». Получается, что товарищ, который расстреливал Гумилёва (или присутствовал при расстреле, но ведь он же на стороне палачей присутствовал), был необоснованно репрессирован, постигла его такая горькая участь. Как возможно, что в сознании человека возникают такие удивительные конфигурации идей: расстреливать поэтов — это законно, а расстреливать их убийц — это «необоснованные репрессии»?

В те три недели, что прошли от ареста до расстрела, многие пытались хлопотать об арестованных. Отец Владимира Таганцева, профессор Николай Степанович Таганцев, писал лично Ленину, напоминая ему о личном знакомстве с ним и его родителями. Усилия друзей и родных не увенчались успехом. После вынесения приговора арестованных вывезли далеко за город, предположительно в Ковалёвский лес за Ржев-

ским полигоном. Людей заставили рыть большую яму, потом приказали всем раздеться, выстроили в ряд на краю. Многие мужчины и женщины плакали, падали на колени. Гумилёв, пока мог, стоял неподвижно. Часть обречённых столкнули в яму и расстреляли, потом на гору убитых и раненых сбросили остальных и снова открыли стрельбу. Когда братскую могилу засыпали землёй, оттуда ещё доносились стоны раненых. Сообщение о расстреле появилось 1 сентября в петроградской газете «Революционное дело», конечно же, без подробностей: власть, которая культивировала образ героической борьбы с врагами революционного пролетариата, вовсе не стремилась рассказывать о том, как людей принуждают копать себе могилу, а потом пьяные солдаты издеваются над ними и расстреливают их.

Анна Ахматова 16 августа написала стихотворение:

Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать.
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.

Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.

Горечь, тяжесть, печаль, которая пронзает сердце, потому что безвозвратно уходит целая эпоха, и с нею умирает страшной смертью не только поэт, который прошёл земной путь лишь до половины, но друг детства, «мальчик весёлый», с которым вместе ходили из школы под царскосельскими липами. Ходасевич писал, что Гумилёв ему всегда казался ребёнком, мальчиком, которому нравится изображать взрослого. Всеволод Рождественский вспоминал историю, которая произошла в двадцатом году: белой ночью группа молодых писателей шла по Невскому проспекту от Дома искусств (он был на углу Мойки и Невского в доме, где в пушкинское время размещался знаменитый ресторан Talon). В те годы перестали следить за торцовой мостовой, и ухоженный, лощёный, блистательный Невский проспект вдруг превратился в провинциальную улицу, где между торцами пробивалась травка. Так вот: по этому все ещё великолепному, но уже поросшему травой забвения Невскому проспекту группа молодых писателей идёт к Аничкову мосту. На мосту Гумилёв подбежал к одной из скульптур и ловко вскочил верхом на коня, что вызвало справедливые упреки случившегося рядом милиционера. Гумилёв пару минут восседал на коне, болтая ногами, а затем соскочил на землю. Так гласит основной текст мемуаров, но есть и дополнение (оно дано в комментариях):

В ответ на требование милиционера спуститься с коня Гумилёв махнул рукой и сказал: «А иди ты в ...!» — и дальше следует некое непечатное слово. Милиционер был в совершенном восторге. Он-то считал, что интеллигентный человек слова более грубого, чем «задница», и сказать не может.

Гумилёву тридцать четыре года в это время, он ещё полон мальчишеского задора и легкости жизни — и всего через год он будет цинично и безжалостно уничтожен, и смерть его совпадёт со смертью Блока и обозначит конец великой эпохи. Смерти подобает оплакивание, что, собственно, мы и совершили: всё сказанное выше есть не что иное, как поминальный плач. Исполнив этот долг, нам подобает вернуться к началу наших размышлений, к вопросу, поставленному на первой странице. Мы хотели понять, почему невидимая Россия, жизнь русского слова, оказалась под угрозой в момент гибели Блока и Гумилёва. По мере приближения к концу текста стало ясно, что дело обстоит противоположным образом: жизнь поэтов оборвалась потому, что континент русской культуры погрузился «на дно преисподней» — так называется стихотворение Максимилиана Волошина, написанное в Коктебеле в январе 1922 года и посвящённое памяти Блока и Гумилёва:

НА ДНЕ ПРЕИСПОДНЕЙ

Памяти А. Блока и Н. Гумилёва

С каждым днём всё диче и всё глуше
Мертвенная цепенеет ночь.
Смрадный ветер, как свечи, жизни тушит:
Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь.

Тёмен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок ведёт
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.

Может быть, такой же жребий выну,
Горькая детоубийца — Русь!
И на дне твоих подвалов сгину,
Иль в кровавой луже поскользнусь,
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь.

Доконает голод или злоба,
Но судьбы не избери иной:
Умирать, так умирать с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!

Смерть поэтов — тема, которая не отпускает Волошина. Она неоднократно появляется в его стихах, а незадолго до смерти, в 1932-м, Волошин записывает в своей рабочей тетради:

В эту глухую призрачную ночь из глубины души поднималось огромное бесформенное неопределённое чувство, и это чувство была Россия. Это была одна бескрайняя тусклая снежная равнина, побиваемая ветром. <...> Не было ни пожаров, ни крови, ни звуков сражений. Стыли Сиваш и Кронштадт, шуршали камыши на Кубани, Дон, Украина, Сибирь были безмолвны. Не было усобицы. Убитые и замученные похоронены, съеденные переварены, но томление такое, что душа, уставшая от ужаса и пыток, предпочла бы все этому молчанию. Над застывшими каналами Петербурга бродила гигантская тень страшного голландского шкипера и шептала сумасшедшему удуренному Павлу: «Бедный Павел!» И тут же гениальный провидец России, Микеланджело русской души, в арестантском халате ждал расстрела, тело Грибоедова на арбе волокли из Тегерана, Рылеев покачивался в петле, Гумилёв плавал в луже крови, четвертовали Долгорукого, Волынского и вырезали языки... Господи, в руки твои!.. Страдалец с челобитной висел под окном царевны Софии. Героическая статуя, вылепленная из вязкой человеческой глины и склеенная кровью, после смерти Петра сразу осела и стала походить на каменную бабу.

Волошинские видения несут в себе важную мысль: героическая статуя российской государственности, изготовленная из плоти и крови несчитанных жертв, держится только железной нечеловеческой волей вождя, и как только воля эта ослабевает, мгновенно обнаруживает свою истинную природу — превращается в каменную бабу языческих времен. Волошин в начале прошлого века наблюдал эту чудовищную метаморфозу и знал, что выстроить что-то воистину великое можно только из человеческого духа, а единственная сила, способная это осуществить — Слово.

Нередко приходится слышать, что историческую возможность, которая открывалась перед Россией в конце XIX — начале XX века, мы упустили, что возрождение той России — утопия, и мы можем лишь пытаться восстановить портрет утраченной страны. Отчасти это так. Работа природы и культуры, которая совершалась веками, была жёстко прервана десятилетиями войн, лагерей, мерзости и унижений, и от этого никуда не деться: ужас, пережитый предками, все мы несём в своей крови. С другой стороны, две тысячи лет христианства научили нас верить, что дух сильнее крови, что нам должно родиться свыше, а невозможное человекам возможно Богу. Память о горестных утратах может преобразоваться в наших сердцах в общение с теми, чьё слово звучит до сего дня. Когда мы произносим их слова, уста их шевелятся в могилах. Они живут в нас, если мы способны извлечь из горького прошлого нравственные уроки и постараться в наши времена не оказаться на стороне гонителей русского слова и душителей русского сознания, постараться вернуться к тем корням, которые были так безжалостно отрезаны, снова вдохнуть удивительный воздух русской поэзии и стать другими людьми.